

Вадим ШВЕРУБОВИЧ

ТРУДНЫЕ

Журнал и сцена. — 1994. — 8-15 сент. (№ 30-31). — с 14-15.

Вадим Васильевич Шверубович был сыном Художественного театра в прямом и переносном смысле слова. В течение долгих лет он работал в его постановочной части и в глазах причастных сцене людей, был таким же волшебником этого труднейшего дела, как его знаменитый предшественник Гремиславский. Недаром именно Шверубович стал основателем и бессменным руководителем постановочного факультета Школы-студии МХАТ, известного во всем мире.

Вадим Васильевич был связан с художественниками и кровно — его отцом был Василий Иванович Качалов. Шверубович знал театр, что называется, изнутри — знал, преданно любил, почитал, что не мешало ему видеть жизнь театра и объективно, и с юмором и писать о нем без умолчаний.

Мы предлагаем вниманию читателей неопубликованную главу из книги мемуаров «О старом Художественном театре», где речь идет о гастрольях 1923 года в Америке. Полностью глава будет опубликована в ближайших номерах журнала «Театр».

На «Олимпике», кроме первого и второго класса, было еще восемь кают резерва, которые, в зависимости от спроса, шли либо по цене первого класса, либо по цене второго. Коридор, в который они выходили, относился ко второму классу, но мог по желанию соединяться с салонами и палубами первого класса. Эти каюты отличались от кают второго класса тем, что в них были кровати и диванчики без коек одна над другой, во-вторых, в них были отдельные уборные, в-третьих, они все были с окнами.

Как только мы расположились в своих каютах — отец со мной в одной узкой, с койками по вертикали, мать с Успенской в другой такой же, я отправился шляться и знакомиться с расположением и размещением других. Все ехали примерно так же, над Москвиным — Добронравов, под Грибуниным — Тамиров. Совсем особо был помещен Константин Сергеевич: у него была именно такая, как я говорил выше, каюта. Это было приятно, кому же как ни ему ехать с большим комфортом, чем другим. Но когда такая же каюта оказалась у Подгорного, мне стало уже обидно. Неужели Василий Иванович, Иван Михайлович и другие наши «старички» не заслужили большего комфорта, чем Подгорный, который, если и значится в руководстве, так уж не за свои таланты, а только за относительно большую деловитость?

Когда же оказалось, что и Бокшанская и Таманцева едут в этих привилегированных каютах, я был оскорблен и обозлен предельно. Вероятно, с моей стороны это была гадость, но я пошел и с возмущением рассказал об этом безобразии Ивану Михайловичу, Грибунину, Василию Ивановичу, да и всем вообще. Все начали бегать и заглядывать в каюты «конторы» (Л. Д. Леонидов и С. Л. Бертенсон уехали в США на предыдущем пароходе) и, убедившись, что они обставлены на одном уровне с Константином Сергеевичем и лучше всей остальной труппы, начали в иронически-издевательском тоне выражать им сочувствие в том, что они так одиноки, спрашивали, не будет ли им страшно ночью в такой огромной и пустой каюте.

Это все было и противно, и глупо, и мне было стыдно, что я оказался вроде бы как зачинщиком всей этой свары, но ведь было очень уж некрасиво такое явное «использование служебного положения» людьми, не имевшими на это никакого права, не заслужившими его ни талантами, ни особыми трудами. Это была вспышка извечной борьбы между сценой и конторой, борьба, о которой пишет Константин Сергеевич в своей «Этике». Жаль только, что он в жизни, в практике так противоречил порой себе, своему подходу к «конторе», постоянно становясь целиком на «их» сторону.

Мне сейчас кажется, что именно тогда начала складываться та стена, которая в последние десятилетия жизни загородила Константина Сергеевича от труппы его родного театра. Та проклятая преграда, испортившая жизнь ему и пагубно повлиявшая на судьбу всех остальных. То средостение, через которое никто негодный его окружению (тем же Подгорному и Таманцевой плюс Н. Е. Егоров) не мог проникать к нему, что создавало у него самочувствие ненужности, покинутости, забытости. Он знал о жизни театра и труппы, о мечтах и настроениях, творческих планах актеров (а это, в сущности, главное в театре) только через посредство все той же «банды», его осведомлявшей в высшей степени «адаптированно», приспособившей характеристики к своим отношениям, к своим планам, отнюдь не творческим, а в высшей степени своекорыстным, исходящим от страха разоблачения и изгнания, вернее отгона от того пирога, который они с жадностью грызли. Только поэтому я позволил себе рассказать об этой далеко не лестной, характеризующей атмосферу тех лет, истории с посадкой на «Олимпик».

По прошествии нескольких часов, к вечеру того же дня все улеглось и дальше переход протекал абсолютно благополучно.

Несколько раз Константин Сергеевич собирал у себя основных исполнителей «Штокмана» и репетировал с ними. Василий Иванович приходил с этих репетиций мрачным и раздраженным — не получалось у него контакта с Константином Сергеевичем, а со стороны Лужского он чувствовал полное неприятие. Это было неудивительно, подражать Константину Сергеевичу он не хотел и не мог, свое же толкование у него и не созрело еще, а если бы и созрело, — не могло оно не казаться беспомощным и бледным после блестящего исполнения этой роли Константином Сергеевичем.

Собирая Константин Сергеевич и группу «Трактирщицы», но больше работал с Пыжовой с глазу на глаз. После этих встреч Ольга Ивановна выходила из каюты с совсем особым выражением лица, она как будто никого перед собой не видела, ее глаза смотрели то ли вдаль, то ли в себя самое. В ней еще была та первостудийная открытость, готовность к творческому восприятию, то самое главное в актере-ученике, что делало учителя учителем, вдохновляло и будило в нем творческий гений. У других ли-

бо был некий цинизм всезнания, либо страх.

Нина Николаевна встречалась с А. Тарасовой по «Шурочке» («Иванов»). Они были друг другом очень довольны. Занималась Алла Константиновна и с Василием Лужским по «Грушеньке» («Карамазовы») и раза три-четыре репетировала с Леонидом Мироновичем сцену в «Мокром».

Ольга Леонардовна проверяла со мной (в качестве суфлера) текст «У жизни в лапах», который, ей казалось ошибочно, что она забыла.

После шести дней плавания, 6-го вечером мы подошли к Нью-Йорку и стали на рейде. Часть пассажиров первого класса, видимо, особо привилегированные особы, отплыли на таможенном или лоцманском катере, мы же провели ночь на судне. Огни города были видны, но звуков его не было слышно. Довольно большой компанией во главе с И. М. Москвиним мы часов до трех-четырёх сидели на палубе и, совершенно трезвые (на пароходе был сухой закон, если он стоял в прибрежных водах США, а если у кого-то и были запасы, то их берегли для Нью-Йорка), пели любимые московские песни и дуэты под гитару Александра Хмары. Мы зябли на холодном ветру и смотрели на огни «великого белого пути», как зовут Бродвей американцы. Ни на что неожиданное от Штатов и Нью-Йорка мы не рассчитывали, волновало не личное, тревожила судьба театра — пройдем ли мы теперь хоть наполовину так хорошо, как в прошлом году. Очень многие, хорошо знающие Штаты, утверждали, что у Америки есть закон — ничего повторно она не любит.

Условия Геста были тяжелые — гарантии даже на зарплату не хватят, если не будет прибыли. Чем мы рассчитаемся с долгами? Почему-то на этот раз этим взволнованы были не только пайщики, но и мы, молодежь. Очевидно, мы уже американизировались, и финансовая удача сулила не только деньги, прибыль, но и престиж, честь.

Рано утром нас подтянули к пристани, и начались таможенные и паспортные процедуры. Прошли они легко и благополучно — мы уже знали, как и что, да и нас уже знали, если не персонально, то как коллектив. Неприятность была одна, но восприняли мы ее, как это ни жестоко и бесцеречно, с юмором. У А. Л. Вишневого в Нью-Йорке оказались родственники, родной брат с семьей, он решил сделать им подарок и купил в Париже три бутылки хорошего коньяку. Мы предупреждали его о риске, провоз алкогольных напитков в «сухие» те годы США рассматривался как преступление. Если еще раскупоренное, разлитое по фляжкам, вино как-то могло быть пропущено, то уж три закупоренные бутылки одинакового коньяку не могли не навести на мысль о бутлегерстве, которое каралось тюрьмой и штрафом. В данном случае о тюрьме речь не шла, но конфискация и штраф — 15 долларов!

Бедный А. Л. плакал горькими слезами и изругал встречавших его родственников последними словами, крича сквозь слезы: «Ты, старый осел, болван, ты мне запладишь и 15 долларов, и то, что я за них в Париже заплатил. Ведь это же самый дорогой коньяк в мире!» А рядом ликовал Фалеев — он поступил очень хитро: в четыре бутылки из-под коньяку он налил лак для приклеивания бород, цвет которого был точно цветом коньяка, а в две замызганные тем же лаком, испачканные гримом, заткнутые тряпками бутылки налил коньяк. Таможенники заставили раскупорить две первые бутылки, проверили их и убедились, что это лак. За грязные бутылки они не взяли. Михаил Григорьевич был на коне! Провез две бутылки Мартеля!

За исключением этих событий все прошло гладко и даже как-то буднично. Через два-три часа после приезда мы встретились с кем-то из труппы на Бродвее и удивились, до чего же все просто — переехали океан, оказались в Нью-Йорке и шлемся по нему, как ни в чем не бывало.

Устроились все хорошо, все уже знали, где и кого искать. Симбиоз мой с Ершовым кончился, теперь он жил с женой, М. А. Ждановой. Я поселился в одной квартире с мужем Дейкархановой С. А. Васильевым. У него была свободная комната, так как Дейкарханова была со своим театром «Летучая мышь» в поездке по США. Уюта семейной жизни, как в первый приезд, не было, но комфортабельно, привычно и доступно по цене было. С деньгами тоже оказалось несколько хуже, чем в тот приезд, — тогда нам платили заработную плату и даже мы, «минималисты», получали по 60 долларов в неделю. Теперь же платили суточные по 5 долларов в день. Для меня это было только вдвое меньше, но для получавших по 100 и по 120 долларов — это было в три и четыре раза меньше.

Жить на 5 долларов можно было, но очень осторожно. Главное — это была квартира, дешевле, чем за 15—18 долларов в неделю снять комнату было почти невозможно, при этом на еду оставалось около 2 долларов, в обрез. А на папиросы, транспорт, кино, к которому все так привыкли? Ведь ни газет, ни книг для большинства не было, так что единственным видом культурного развлечения оставалось кино. Через него узнавали все новости (хроника), через него знакомились со страной. У некоторых эта привычка превратилась в страсть, в кино ходили по два-три раза в день, Успенская ходила и после спектакля, на ночные сеансы, где проводила время с 12 до 2 часов ночи.

Вяснилось, что театр мы получим только в ночь с 17-го на 18-е, с субботы на воскресенье, монтировать сможем все воскресенье, открыться должны в понедельник 19-го.

Гест считал, что он и так расточителен, другое «шоу» (американский театр-спектакль) удовлетворилось бы одним понедельником. Он считал, что весь репертуар спетирован и смонтирован еще в Европе и одного дня для освоения сцены достаточно. Тем более, что сцену он нам достал (якобы с огромным трудом) ту же, на которой мы с таким триумфом открылись в первом сезоне. Это был Джолсон-театр. Нам же все это казалось катастрофичным. В прошлом сезоне мы привезли крепко выверенный репертуар из трех пьес, которые играли по неделе каждую, теперь же надо было открываться «Карамазовыми», которые, по нашим понятиям, были готовы еще только начерно, через день играть «Трактирщицу», которую сыграли всего один раз и очень мало и беспорядочно репетировали, потом «Иванов», сыгранный всего два раза. «У жизни в лапах» не репетировали вообще и оформленная-то не было, «Врага народа», хотя и репетировали, но без народных сцен, имевших в спектакле едва ли не решающее значение.

Я понимаю, как волновался и страдал от такой халтуры Константин Сергеевич, какими мы все казались ему равнодушными, погубителями его дорогого театра. Хотя это было не так, мы, особенно Иван Яковлевич, волновались и страдали не меньше, но не совались со своими волнениями и страхом на глаза К. С., как это непрерывно делала «контора», поэтому и ходили в «прохвостах и жуликах, развращенных трехлетней халтурой «Качаловской группы».

Пока же репетировали по домам, чаще всего в номере у Константина Сергеевича. Он жил в гостинице «Горндайк», совсем рядом с театром, где нам предстояло играть. Во время одной из репетиций, кажется, «Врага народа», К. С. сообщил о странной телеграмме от Владимира Ивановича: «Получил от Михальского карикатуру «Крокодила», пришлите опровержение». Это было тревожно и непонятно и разъяснилось только через месяц. А в это трудное и унылое время только добавило мрака и тревоги.

Где-то в эти же дни пришло сообщение о смерти Н. Е. Эфроса, большого друга нашей семьи, к которому с нежностью и уважением относились и Константин Сергеевич, и Иван Михайлович. Во всех письмах из Москвы были описания празднования 25-летнего юбилея нашего театра. От всего этого становилось грустно, болезненно-остро ощущался отрыв от корней. Даже нам, странствующим так давно, было обидно и досадно находиться вдалеке от Родины, тем более теперь, когда это пребывание не обещало ни радостей, ни благ.

В этот томительный период (с 7-го по 17-е) некоторые из нас попали на спектакли Э. Дузе. Она играла с очень слабой труппой, набранной в Америке из тамошних итальянцев, но успех имела огромный, аншлаги были ежедневны. Особенно трудно было пасть на посредственную мелодраму «Свой дом», даже труднее, чем на ибсеновские «Привидения». В этой мелодраме была сцена, где мать молится Мадонне о спасении умирающего ребенка. Были зрители, которые специально приходили в театр ради этой сцены, особенно итальянцы. Они почти каждый раз начинали молиться хором вместе с Дузе и рыдать, а некоторые, выйдя в проход, стирали руки и падали там ниц, как в церкви. Это были те, у которых кто-нибудь был болен или в опасности, они верили, что молитвы вместе с синьорой Элеонорой или с донной Норой, как они ее называли, особенно доходчивы. Их не разочаровывала вторая часть пьесы, где спасенный молитвой матери и милостью Мадонны ребенок вырастает, становится большой свиньей и гонит свою мать из дому. До этого им, видимо, не было дела, их увлекал сам процесс молитвы вместе с великой актрисой. Моллилась она, как рассказывали (я на спектакль не пошел), с такой страстью, с такой могучей верой, вставала с колен с такой просветленной и уверенной в том, что ее молитва будет услышана, что, помолившись с ней вместе, зрители тоже утверждались в том, что их молитва будет, не может не быть услышана.

К. С. был потрясен рассказами об этом. Он даже побледнел, и на глазах его появились слезы. «Вот это театр, вот это актриса, вот это творчество!» Он пошел на ее спектакль вместе с О. Л., но попал на «Привидения». О. Л. говорила, что Дузе была изумительна, но очень стара и слаба. Они зашли к ней за кулисы, поднесли ей цветы. Гест, конечно, сделал из этого рекламу своей антрепризе и заставил К. С. произнести после спектакля со сцены приветственную речь по-французски.

Некоторые наши актеры во главе с Ольгой Леонардовной попали на спектакль Анны Павловой, которая гастролировала в Америке. Вместе с Новиковым она танцевала глазуновскую «Вакханалию» и что-то еще. Успех имела огромный, но условия были очень тяжелыми, просто каторжными. Ольга Леонардовна была у них за кулисами, они очень жаловались и жалели, что согласились на гастроль в США.

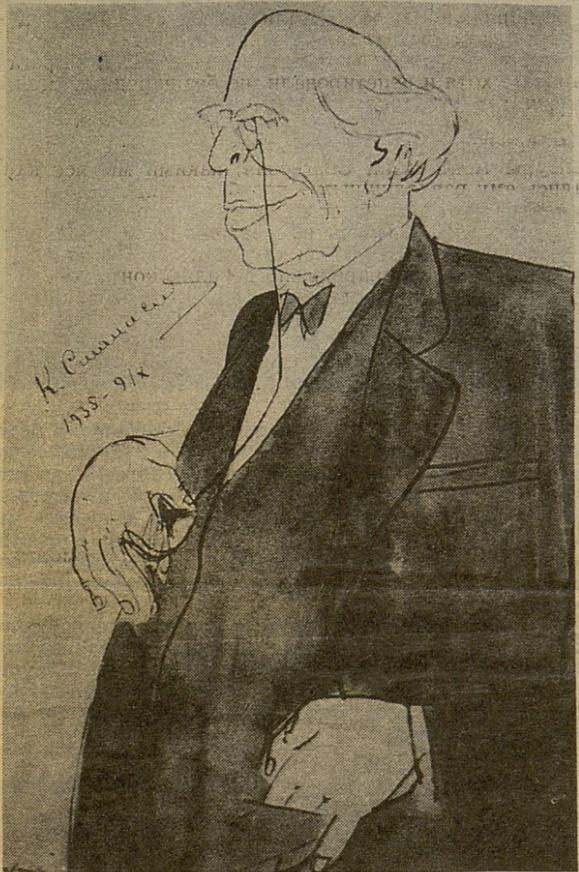
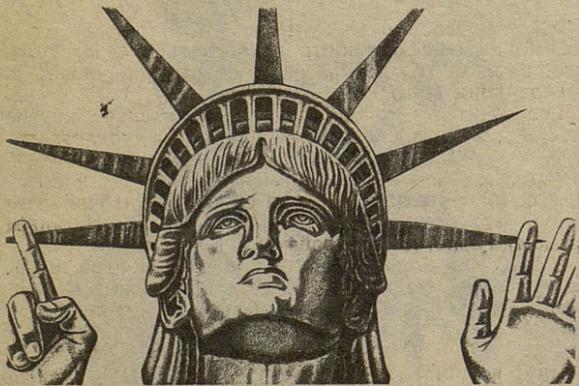
Приближалось наше открытие. Основным спектаклем, «гвоздем сезона» предполагались «Братья Карамазовы». Пользовавшийся абсолютным доверием Геста Балиев усиленно их ему рекламировал, пред-

8.9.94.

Шверубович Вадим

204

ГАСТРОЛИ



годних энтузиастов, ездивших с нами и в Филадельфию, и в Бостон.

«Наш» театр, как я уже писал, был еще занят, и нам обещали предоставить для этой репетиции фойе-бар в помещении «Принцесс-театр», где помещалась контора и кабинет Геста. Когда за полчаса до начала репетиции я пришел туда, чтобы сделать выгородку, в этом фойе шла какая-то спевка для срочного ввода в идущее там вечером «обозрение». Вместо фойе нам предложили гостевский кабинет. Никакой выгородки сделать там было невозможно. Открыли дверь в соседнюю контору и оттуда дверь в коридор, чтобы в трех этих местах кое-как рассадить, а больше расставить всех участвующих, человек тридцать — тридцать пять. Ни о какой репетиции не могло быть и речи. Кое-как повторили реплики и реакции на них («Суд»), прошли и прокричали текст оргии в «Мокром» и разошлись.

В субботу же ночью мы получили возможность приступить к освоению сцены. Предыдущее шоу очистило сцену к пяти часам утра, помещение быстро подмели, и мы начали вносить свое имущество. В течение недели нам предстояло сыграть две пьесы: «Карамазовых» и «Трактирщицу». «Трактирщицу», как спектакль значительно более сложный и громоздкий, мы решили собрать и смонтировать в первую очередь, чтобы на оставшемся месте смонтировать «Карамазовых». На сборку, подгонку, подвеску и установку «Трактирщицы» у нас ушло все воскресенье, зато она была вся проверена, отремонтирована и в частично собранном виде стояла в глубине сцены и висела под колосниками. Работать вторую ночь подряд рабочие отказались, и мы, повесив паддуги и кулисы холщового оформления, в котором шли «Карамазовы», поздно вечером разошлись.

Собравшись утром в понедельник, начали устанавливать место Чтеца и монтировать внутренний занавес «Карамазовых», за которым во время чтения происходила перестановка. То ли мы с этим занавесом зашились, то ли нас задержал наш главный осветитель Харрис, но, когда к двенадцати часам актеры собрались на репетицию и на сцену вошел Константин Сергеевич, — мы были еще не готовы. Произшел разнос номер один.

Только во втором часу можно было начать «Мокрое». Все были рассеянными, несобранными, никто не помнил «кусков», никто не выполнял «задач», никто не нес своих «аффективных воспоминаний», не посылал «праны»... Все выглядело просто статистами, начиная с Шевченко и Грибунина и кончая нанятыми в Нью-Йорке действительно статистами. Константин Сергеевич впал во гнев. Начался разнос номер два.

«Все равно не отпущу, до спектакля буду работать. Буду учить, как собачонок». Все «собачонок» подтянулись, но нам пришлось просить всех очистить сцену — пора было доставлять все к спектаклю, надо было еще проверить свет. Просить Константина Сергеевича об этом пришлось мне — тут был разнос номер три.

Уйдя в фойе, Константин Сергеевич продолжал репетировать и, взвинченный своим выговором нам, вошел в азарт и замечательно показывал и пьяный угар, и развеселый кутеж на грани трагедии, и веселье, которое вот-вот перельется в истощный вопль отчаяния. Не знаю, как репетировал эту сцену Владимир Иванович, когда ее ставил, вероятно, изумительно, если судить по результатам. Но то, как показывал, куда «тянул» в этот день, в эти полтора-два часа К. С., было на самом высоком уровне, а этим многое сказано.

К сожалению, нельзя сказать, чтобы спектакль шел на том же высоком уровне, что и эта репетиция в фойе. Начало было хорошее, «За коньячком» и «Обе вместе» прошли хорошо. Выход, вернее, выбег Л. М. Леонидова принял аплодисментами, выход Тарасовой-Грушеньки тоже. Неприятности начались с «Мокрого». Оба режиссера, Василий Васильевич — с одной стороны, Константин Сергеевич — с другой, пытались дирижировать народной сценой. Вас. Вас. тонким фальцетом пел вместе с «девами», а это их смешило и выбивало из образа. Константин Сергеевич трагическим шепотом напоминал: «Куски, куски, не забывайте куски...» Да тут еще задержался внутренний занавес, и Л. М. пришлось отводить его рукой, чтобы открыть до конца кровать с Тарасовой. Он сразу обозлился, упал духом и только торопился кончить сцену. Твердил в сторону: «Скорее», «Живей». Его безумно раздражал как дирижерский шепот Константина Сергеевича, так и почувдившееся ему «фиглярство» в пенинн Василий Васильевича. Выбегав за кулисы, он вдруг провизжал мне: «Убери обих старых дураков со сцены, а то я сам уйду!» Я подскокил к Василию Васильевичу и взмолился: «Уведите со сцены Константина Сергеевича, а то Леонид Миронович уйдет со спектакля!» Тот, зная нервную возбудимость Л. М., быстро подошел к К. С., сказал ему что-то, и они оба быстро ушли. Причем, уходя, К. С. прошептал в сторону сцены: «Куски...» Дальше спектакль шел хорошо.

«Суд» произвел огромное впечатление. Константин Сергеевич, опять появившись за кулисами, остался народной сценой очень доволен. Рассердился он только на Л. М. Кореневу, которая хоть и согласилась после долгих споров на все предложенные сокращения, выйдя на «Суде», «раскрыла купюры» — проговорила почти все, что было вымарано. «Неисправима!» — со вздохом произнес К. С. Успех был очень большой.

На другой день наступило разочарование. Пресса была неважная. В общем похваливая спектакль, отмечая отличное исполнение, газеты (почти все одинаково) сомневались, сможет ли подобное «шоу» заинтересовать американскую публику. Это было самым плохим из того, что они могли написать. Если бы обругали, было бы лучше. Сборы резко упали — в Соединенных Штатах читатели верят своим газетам. Гест приказал ставить спектакль как можно реже, а афишу городов, где мы должны были играть после Нью-Йорка, резко перестроил. «Карамазовых», которыми мы должны были открывать свои гастроли, перенесли на конец и по одному только разу. Леонидов узнал об этом, и настроение его сразу упало. Предполагалось, что если первый сезон проходил под знаком Москвина, то второй будет леонидовским. Веру в это, веру в огромный успех «Карамазовых» поддерживал в нем его друг Балиев.

В чем тут была ошибка — непонятно. Ведь Достоевского в Америке если и не читали, то считали обязательным знать по фамилии и по репутации «жесточкого таланта», «мучителя», «болезненного психолога» и т. д. Интерес к нему не быть не могло. В этом Балиев, вообще редко ошибавшийся в публике, ошибаться не мог. Значит, не прошел именно спектакль, но почему? Некоторые считали, что это из-за Чтеца. Из-за того, как он читал и из-за самого его присутствия, превращавшего спектакль в нечто похожее на протестантское богослужение или университетскую лекцию. Некоторые винили в этом Геста и Сейлора (его заведующего прессой), считая, что они заняты больше другими (Дузе, Шильдкраутом, Рейнхардтом и т. д.), забросили МХТ и не работают с прессой.

Началась противная история с 25 долларами, которые в прошлом году поспешительно платили И. М. Москвину за «Федора» как за гастрольную центральную роль. Когда решался этот вопрос (еще в Москве), ему это было обещано, причем, было сказано, что Леонидову платили бы за Дмитрия Карамазова, Станиславскому — за Штокмана, Качалову за Гамлета. Теперь возникла очень сложная ситуация с массой вопросов: платить ли за Штокмана Качалову, платить ли ему же за Иванова, а если нет, то почему платить Леонидову, да еще если учесть, что «Карамазовы» не делают сборов, да еще при общем плохом финансовом положении. Решили в этом году ничего и никому поспешительно не платить. Следствием как этого, так и вообще неудачи «Карамазовых», стало то, что Леонид Миронович стал отказываться играть, и то и дело роль Дмитрия играл Бакшеев, что, конечно, намного опускало весь спектакль. Бакшеев же перестал приходить для участия в народной сцене «Карамазовых», когда играл Леонидов, что отражалось на отношении к участию в этих сценах и других актеров. А это ведь было только начало наших гастролей! Сколько же еще грустного и тяжелого ждало нас впереди?

Василий Иванович и Ольга Леонардовна были настроены очень мрачно и неоднократно повторяли, что не надо было жадничать, а после прошлогоднего успеха следовало вернуться воясами.

Следующей премьерой сезона была «Трактирщица». Оформление ее мы поставили быстро, так как оно было хорошо, «по-американски» построено в Берлине под руководством Фостера и ценою скандала с опозданием «Карамазовых» хорошо смонтировано за воскресенье. Константин Сергеевич просил дать ему возможность пройти с исполнителями несколько сцен хотя бы из первого акта. С невозможностью настоящей генеральной он с муками, но примирился. Пройти надо было больше всего ему самому — ведь он играл Кавалера с 1916 года, а премьеры в Париже была для него «адовой» генеральной, в которой он был больше режиссером, чем актером, так как безумно волновался за Пыжову. После парижского спектакля он за нее волновался меньше, так как верил в нее и она ему определенно нравилась. Зато всплыли волнения за себя, за мизансцены, за выходы (он не особенно надеялся на меня как на помрежа, ведь он привык, что помрежи вращаются в спектакль месяцами), но больше всего за текст, как за свой, так, и даже больше, за реплики, по которым он должен был вступать.

В первом акте он должен читать письмо. Я, как всегда, заготовил это письмо: на «старинной» голубоватой бумаге написал тот текст, который Константину Сергеевичу надо было произносить вслух, остальные же строчки письма заполнил просто буквами. Константин Сергеевич попросил у меня это письмо, пока оно еще не было запечатано, внимательно просмотрел и попросил вписать в него начала всех его реплик первого акта после прочтения письма, а текст письма написать более крупным шрифтом. Это, мол, будет его успокаивать, он сможет взглянуть в письмо («будто хочу перечесть его») и подсказать себе. Он не верил, что услышит суфлера, который из-за отсутствия в Америке будок, сидел в первой кулисе. Румянцев, исполнявшего обязанности суфлера, он умолял следить за ним с полным вниманием: «Могу все забыть и такое наговорить, что хоть занавес закрывай!» Ведь в Париже была будка, и Константин Сергеевич, видя в ней суфлера, был покойнее.

О. И. Пыжова была много смелее и увереннее, чем в Париже. Моя мать, смотревшая спектакль из публики, утверждала, что она намного лучше Гзовской — и озорнее, и пикантнее, и, главное, народнее, итальянстее. Все смотревшие очень одобряли и Тамарову — Фабрицио, и страстность его влюбленности, и мальчишескость, и итальянстость. Ничего не получилось у Ольги Леонардовны и у ее партнерши Булгаковой, наскоро делая роли, в которых необходима легкость и комедийность, в МХТ не умели даже такие дивные актрисы, как О. Л. Книппер.

Успех у спектакля был, но небольшой. Об аплодисментах и вызовах прошлого года мы только вспоминали. Это была первая попытка МХТ показаться в роли театра европейского репертуара, большой удаче эта проба не принесла.

сказывая им самый большой успех всей поездки. «Братя Карамазовы и так, что было мокро» (все повторяли эти прошлогодние слова Геста) были намечены для открытия сезона как в Нью-Йорке, так и во всех городах, где мы должны были по плану Геста играть потом. В качестве Чтеца предполагался опять С. Л. Бертенсон, хотя по опыту прошлого все знали, что это скверно, но иного выхода не нашли. Решили восстановить сцену последнего свидания, так как в ней раскрывалась вся уголовная фабула инсценировки, да и репетировал Смердякова Булгаков очень хорошо. Василий Иванович обещал, чтобы этим восстановлением не удлинять общую продолжительность спектакля, сократить на десять минут «Кошмар». Он пошел на это легко, так как не особенно верил, что американская публика сможет высидеть тридцатиминутную темную сцену монолога.

Совсем иначе отнеслась к попыткам сокращения сцены суда Л. М. Коренева, игравшая Катерину Ивановну. Сколько с нею ни бился Василий Васильевич, она упорно сохраняла свой текст, дорожа каждой репликой, каждым словом. Тогда Лужский вымарал из роли прокурора те вопросы, на которые Лидия Михайловна не хотела отвечать коротко, и текст ее в «Суде» свелся к минимуму. Это ее оскорбило («Не за себя, поймите, за Федора Михайловича Достоевского»), и она вообще отказалась от роли. Константин Сергеевич моментально приказал начать работать над ролью Катерины Ивановны с Пыжовой, но наткнулся на неожиданное сопротивление своей тогдашней любимицы Ольги Вановны. Она заявила, что быть пугалом и страховкой от корневских капризов она не желает, или ей дадут роль насовсем, забрав ее у Коренева, или она от роли отказывается. Узнав о настроении Пыжовой, Лидия Михайловна смирилась и согласилась на вымарки (на третьем или четвертом спектакле она часть своего вымаранного текста «явочным порядком» таки восстановила).

В субботу 17-го была назначена репетиция обеих массовых сцен («Мокрое» и «Суд»). Занята была вся трупа, включая и контору и технический персонал, и шесть-семь сотрудников из числа прошло-